

## РЕЧЬ

Я говорю на чужом языке, не вашем.

Знаю, люди меня не понимают вовсе.

Мне отвечают капли в микстуре, и в душе ржавом  
краны скрипят, привечая воду. Меня так мостик,  
что над болотом завис, поучает: утоп, мол, в травках,  
острый чужой язык сжигает меня, как время.

В каждой вмятине добрую дряблую краску  
расколупала — на звук, просчитала свой рост на двери.

Каждая выбоина на дороге поет контральто:  
это копыто, лошадь, я грусть ее слышу громом.  
Так говорит с микроскопом бактерия, память,  
и ни один из звуков, что спела б в хоре.

Ангелов? Не было, нет — и не будет здесь откровений.  
Греет ногу в прихожей бродячий аист.  
Кто-то еще лепечет родной мне речью —  
над колыбелью явленья,  
на грани — счастья.

## СЕНТЯБРЬСКОЕ

### 1.

Сезону ранней осени присуще  
отдохновение — чернильная страда,  
сладчайшая; своею мягкой лапкой  
погладит вечер; снизойдет на нас вода  
из туч и из листвы. Дожди семь долгих суток  
нас будут поливать, и тихо-тихо звон  
листвы и туч в усталости утонет..  
Нам станет хорошо, как в самый первый сон.

### 2.

Сезону ранней осени подвластно  
меж сном и явью промежутки обнажать,  
все помня, ничего не предавать огласке,  
страстям грядущим — в глубину, до дна — дышать  
из сумерек и знать, что всё — текуче,  
всё дивно, всё пронзительно, всё — так.  
Но и прозрений чудный редкий случай  
размыт и стерт: он — как затасканный пиджак  
сюжета осени; сочатся с неба тени,  
но никому еще безумье не грозит,  
пока сюжет забыл, что он болит,  
пока не нас ведут на всеожженье.

Из лета ухожу, иду по краю.  
 Каре осенних войск стоит во тьме  
 И стережет меня — она опять нагая,  
 Война, что тьму свою сожжет во мне.  
 Одета лишь в засаду. Невеличкой  
 Вся жизнь моя, весь шум и пересвист  
 Пред ней летит; стигмат на лапке птички.  
 Сигналит лету, что каре в засаде спит.

И вот войска возникнут в жаре сосен  
 И втиснутся в мою печаль, как в дверь.  
 Вот я вернулась к непогоде, скажет осень,  
 Налей мне горького чего-нибудь, налей.  
 Покрой ожоги, в шаль укутай мои плечи,  
 Клеймом своим тебя я не спугну.  
 Да ты сама, сама — в кленовом теле  
 Дрожишь, как пламя в моем розовом углу.

Да ты сама не знаешь края ливням  
 И мусор снов выносишь на ветра...  
 Ты — рвань на жердочке, от птички пелеринка,  
 Хозяйка желтого от сырости листа...

Войди, скажу, приветствую отряды  
 Твои, но на постой не разместить,  
 Оставь за дверью их, сама останься, бога ради,  
 Не уходи, не уходи других любить.

Под мостовой, под каждым камешком — нагой  
 лежал ребенок. И смотрел — наискосок.  
 Нет, не туда, где города и годы:  
 со здания, по краю, водосток  
 пускал свой дождик; призраки свободы

качались, словно корабли; по мостовой  
земля и жизнь спешили в путь, по кругу.  
Вот птичка села на оторванный листок  
календаря. Малыш лежит, собой напуган —  
отсутствием своим в течении вещей.  
Век гроыхает где-то рядом.  
Кто помнит лица маленький детей,  
монаду лика, кто обнял свою цикаду  
и стрекозу моста — под мостовой?  
.....  
А фонари стоят, как постовые.  
И в перспективу толпы топают, их выи —  
в годах, как в камне города слепые.  
И маленький под камушком — порой...

## ЖЕНЩИНА В МАСКЕ. ТРИПТИХ ЛИЯ

Лет двадцать я в пустыне прослужила  
колодцем — черни,  
на цепи — для жаждущих — бадья.  
Услышь меня, мой верный судия:  
твой старый Яков все слюбил с меня,  
своей неизбранной и по-собачьи верной Лии.

Детей произвела, вела бюджет  
семейный и народный, в год — по сыну,  
но от химер пустынных, от теснины  
шатровой, маеты преклонных лет

меня спасал всегда сестрицын голосок  
из леденца под язычком, так жгуч и тонок:  
колодец, обратившийся в потоп  
из звездных, теплых незабвенных первых слов:

— Рахиль, Рахиль моя, совсем еще ребенок.

## 2. ГЕРЦОГИНЯ АЛЬБА. ГОЙЯ

Ты, женщина, — вовеки еретичка!  
Тебе неведом стыд в невидимой войне!  
Ты — герцогиня Альба, дым и спичка,  
пылающая в гордом позвонке.  
И на подмостках тысяч инквизиций,  
что с лиц черту стирают за чертой,  
ты, герцогиня, — МАСКА. Гойе снится  
твоя — последняя, за ней грядет покой  
с возлюбленной... Что холст — простолюдину!  
Что хлыст для Махи в юбке с бубенцом!  
Неуловимым, золотым — палимы  
все лики женщин в тени веера, лицо...  
Ее?  
Последнее?  
(Когда она любима...)  
Как пепел в поле...

## 3. МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Иногда от лжи спасает плоскость,  
дня сухого серая холстина.  
Заглянула в комнату Марина  
и сказала: знаю все про мира косность.

Здесь ни музыки, ни слов, ни роз.  
Здесь все это умирает, чтобы снова  
ты услышала, как безутешно прост  
плач ребенка, брошенного Богом.

Здесь поскребыши всего, что пело «Свят»,  
вспоминают, как любить без фальши.  
Знаю все. А на Марине платье  
черное, до самых звездных пят.

## ЧАРЛИ

Он был в первый раз на земле,  
в котелке,  
в век погромов — какой-то Пыжик.  
Ему выжить хотелось, как в страшном сне,  
Чарли очень хотелось выжить.

А из куш бровей — многозвездный звон  
глаз вращал  
из небесной сферы...  
Понарошкины дети к Чарли в кино  
забрёдают и слышат — летит стекло,  
и лохмотья летят, и сквозь горло — ком  
слез,  
немой — немой,  
и свой домик, свой...  
всех крылатых родинок...

— Где он?

\* \* \*

За столом сидит Пруст, он надкусывает печенье,  
тают стены в тумане, и начинается эра  
вкусового зренья — и детства весенняя глупая вера  
в куст жасмина и в город в тельняшке морской и пене.

Время гонит барашек по морю, но подсознание  
приколело булавками ревности пену к подолу.  
Этот Пруст,  
он о Времени многое помнит:  
всё — о прозе шипа  
с этой розовой пеной под юбкой французской дуры.

В той же комнате Гете стоит у окна —  
созерцает простую верность.

Рядом с Гете — девчонка  
(была им до смерти любима).  
Ни Мефисто, ни Фауста нет,  
да и девочку Гете с собой не потащит в вечность,  
только старое древо в окне важно старому Гете и мило;

это мудрость искусства стоит, обретает стойкость,  
золотая настойка живого бессмертья — писал Кундера.

Я оставила море, на кухне в Тбилиси сижу,  
на тарелке моей — картофель,  
и на стенке — картина Ван Гога, измазана сажей.  
Что же там у меня происходит в пещерах зазвездных? Только  
Кот, антенну уха настроив, один и пристроился со мной рядом,  
рад подпитке из космоса: миска эта  
и по вкусу ему, и по силам, и по размеру даже.

\* \* \*

Наполнившись тяжелой кровью быта,  
ароматическим цветеньем и гниеньем,  
я не вскричу: «Карету мне, карету!» —  
я изучу названия для сбыта  
текучей тени жизненной, впадение  
в существование я выучу, пожалуй,  
и препарирующий тело ножик  
я научусь в события вкладывать. Приметой  
пусть для стола тебе тут будет сеть из редких крошек.

Хотя, кум Тыква, жаль — карета потекла...  
Как ни крахмаль судьбу, но, видно, Чиполлиний  
наш праздник: сам Господь, не давший нам угла,  
нас посетил блаженством снежных линий...  
Блажен и тот, кто в дом вошел, а там угар,  
и тыква льет золу, как золото, и кормят  
хрустальных чиполлин сквозь окна, и пернат,  
как календарь, весь мир, как неба подоконник.

И чуждый мир — летуч. И я с тобой живу —  
лохматым птенчиком, жаднящим, черным, вещим,  
желающим сюжет изъять из печи  
протекшей тыквы на сиреневом снегу.

## ЯНВАРСКИЕ СУМЕРКИ

Тихо-тихо-фиолетово  
в сумерках, как в странном сне.  
Обозначил кто-то веткою,  
словно меткой на стене,  
небо — мило — полустертое,  
ветхо, словно простыня.  
Мир стеной огнеупорною  
охранял всех от огня.

Но горело и стремилось все  
заглянуть за самый край  
облака с жар-птицей дивною...  
Пахнет каждый год январь  
новой комнатной побелкою —  
очень старая игра.  
На стене осталась меткою  
уцелевшая строфа:

«Я один и ростом с веточку.  
Вижу только синеву,  
склянку снов с тончайшей сеточкой;  
в мир дорогу не найду...»

## ДОРОЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

### 1.

Если писать об Израиле,  
то, как и в любой стране, сначала надо — о небе:  
это зеркало правит даже пустынями, ставшими странами.



А в пустыне, что ни посадишь,  
вырастает кудрявым, сухим, маленьким,  
хрупко-колюче-нежным.  
Чуть заносчивым. Не по годам — отважным.

Вот и стоит над страной, его вольницей  
по-младенчески и по-старчески слепо — небо.  
В облаках, звездных косичках, кудряшках, локонах, солнечных  
ломтиках  
над искусственными полями, их вангоговским с проседью  
желтым мазком грубым. Огромным ребячьим телом  
прикрывает холмы.  
Или вон побрело от Цфата до Мертвого моря  
голубое-преголубое  
в глубину-ширину — Покоя

## 2.

А внизу — видишь? — к трубочкам водоснабжения  
клонятся пращурные  
оливковые деревца, и цветы с ограды шоссе свисают гирляндами.  
Дети с глазами матери их, газели,  
в местных автобусах ездят с огромными автоматами.

Где-то свистит сирена. Гибнут. Но небу спокойно.  
Ему — как и мне — не страшно.  
Иерусалим разукрашен коричневыми голубями. И их пометом.

Все здесь уже свершилось. Разрушен.  
Когда? — Когда-то.

Но время видимо — небом идет обратно  
над пустыней своей, сделанной чудом сознания — садом,  
кладбищем, бойней, пашней, небесной любовью.

## ЗНАК РАВЕНСТВА

Он был крупненький даун с картофельными глазами.  
Мы учили с ним арифметику, и перед каждым  
знаком равенства он меня долго и влажно  
чмокал в плечо, обнимал висюльками рук;  
васильками  
разукрашена была его из бумазеи рубашка.

Он был ежик-подросток — и все неприличье  
от безденежного моего ассистентского приработка,  
проиграв ему в несложившиеся два и два, не таилось, а таяло  
и становилось птичкой,  
вкусный сок выклеывающей из глазика сердца его и из рук —  
лукошком.

Он был важен, этот белесый отросток, соплив и щедр,  
он был мыслью, зависимой от глубины объятий,  
миской света, выставленной на порог арифметик, и чмоком  
нас — тех,  
кому мизер сердца достался от раздела господней великой  
части.

Синий цветик последыша — божия милость, баланс  
мировой недостачи в объятых. Тепла и уюта.  
И дневного света лампочка выла в нас,  
освещая класс,  
словно адова пуля стального литья и гуда.

\* \* \*

домой, домой — в набухшее ядро  
поэзии во двор в сарай в ведро  
заледенелое под окнами лицо  
я втискиваю в сумерки свинцом  
под ложечкой посасывает время  
раздрызганный звонок стучится в темя

пора пора из слюдяных морей  
в прогорклость жизни в праведность вещей  
в календаре обыденных забот  
я одиночество запикиваю в рот  
и мякотью давясь давясь железом  
себя благословляю темным лесом  
и серединой и концом пути  
одно прошу — ту нотку донести  
в луче звезды что указали мне волхвы  
до темной осени до горестной листвы

## ВТОРОЙ

Когда второй мне нужен стал — тебя,  
тебя я выбрала (зачем тебя — не бога?),  
не бабочек, не нежных лебедят,  
тебя, тебя, глупца и недотрогу.

А птицы все заснули, спят в груди,  
как чуткий мрамор спит —  
весь в веточках астральных.  
К младенцу на поклон моя стезя  
через дорогу перешла, достала ключ пасхальный,

а там берлога, а не дом, — все спят,  
все спят, все спят, все спят — во сне бормочут...  
Мне кажется, что им дожди стучат  
органом труб и пишут письма с меткой «срочно»:

проснись, воскресни, разбуди всех — закричи!  
Иль не кричи — уснули все шарманки,  
но звёзды, звёзды — эти шарлатанки  
всё по небу летят, всё по морю, как чайки.  
Ключами лязгают их золота лучи.

## ЭМИГРАЦИЯ

Какая маленькая жизнь!  
Зато в каких больших кавычках!  
Пространств громады — море спичек,  
ирония судьбы, зажгись!

Цитатный гном, текст-балалайка!  
Головка кружится слегка...  
Взял государства за бока  
птенец безгнездной певчей шайки.

Летели, пропадали в снах.  
Круги спасали, поезда ли?  
Пейзажами родными стали  
поля и жизни — на попа  
поставленные.

Гном породы!  
Люби без-родно! Князь-шофер  
валетом шел по всем природам  
и продолжал свой давний спор

о том, как с гувернером в Летнем  
саду гулял, а здесь, пардон,  
вульгарна паппу, в Сене, Темзе —  
грязища, мусорка — Гудзон,

и всех Аркадий мир — палата  
шестая, Блока Балаган,  
что и за клюкву есть расплата...

Вот только Девочка-Адам,  
Гольш — на ребрышках водички  
прописана. И текст — как тень  
морей-лесов, синичек-спичек,

а на нее глядят странички  
в кавычках сгинувших Рассей.

И шепчут: как ты не устала,  
такой малюсенький куплет  
в пустотах мира — под накалом  
шпал, семафоров, в паре — с паром?  
Что — несказанен — белый свет...

## ПАМЯТЬ

*Льюису Кэрроллу*

И я у ангела стояла на плечах,  
хранима бездной.  
И я кричала палачам — кочан,  
не голова моя, кочан капусты королевской...  
Все головы... И я венчалась там,  
где холод мрамора и расцветают только жилы  
у рудоносцев слов, — но всем вещам  
назначен срок хранимым быть могилой:  
и ангелу, и лаве, палачу,  
и плахе, и кольцу, фантазии и платью...  
Который век, который снег сосет пыльцу  
цветочка аленького в серных недрах. Это — память.